ФИЛОЛОГИЯ

УДК 82.282

В ПОИСКАХ «ТРЕТЬЕЙ РОССИИ»... (СТИХОТВОРЕНИЯ В. ШУВАЕВА)

В. М. Акаткин

Воронежский государственный университет

Поступила в редакцию 1 ноября 2014 г.

Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы и художественные особенности лирической поэзии В. Шуваева, ее место в литературном процессе второй половины XX века, пути его идейно-творческих исканий.

Ключевые слова: лирическая поэзия, гражданская поэзия, политическая лирика, лирический герой, художественный метод, поэзия и время, постмодернизм, народный характер, идеал в искусстве, поэзия и публицистика.

Abstract: the article discusses the main challenges and artistic features of lyric poetry century V. Shuvayeva, its place in the literary process of the second half of the XX century, its ideological and creative research. **Key words:** lyrical poetry, civil poetry, political poetry, lyrical hero, artistic method, poetry and time, postmodernism, popular character, the ideal in art, poetry and journalism.

Владимир Шуваев – автор двух стихотворных книг, изданных воронежским «Квадратом» (1996 г.) и издательско-полиграфической фирмой «Воронеж» по заказу Москвы (2005 г.). Этими книгами он поставил себя в некий ряд с известными воронежскими поэтами В. Гордейчевым, А. Жигулиным и А. Прасоловым, словно по какому-то таинственному знаку родившимися в 1930 году, в год Великого Перелома. Шуваеву, появившемуся на свет после Великой Победы, выпала участь переживать новый, не менее значимый перелом – 1991 год и его последствия, искать «третью Россию» на орбите XX–XXI веков.

И мне не страшно глядеть в эту бездну В звездном мерцании лет.
Мы не погибнем и мы не исчезнем – Исчезновения – нет! [1, 3]

Первая книга, изданная в середине «лихих девяностых», называлась «Последняя вера» [2]. К середине 2000-х что-то изменилось, подвинулось, и пространство веры стало «бескрайним». Это очень значимая метаморфоза не только в мироощущении В. Шуваева, но и в наших общих эсхатологических настроениях рубежа веков. Над кровоточащей цепью переломов (1917, 1930, 1991), то рыдая, то ликуя, то окрыляясь надеждой, то припадая к пепелищам, кружит слово поэта в поисках Правды и Веры, без которых не может жить русский человек. Оно ищет Добра и Света, Справедливости и Любви в шумах столицы, где «много силы и много власти», и в глубине России в далекой провинции, где мокнут коло-

кола храмов и мало огней. Немолчный гомон мировых бирж и тишина берёзовой рощи где-нибудь под Борисоглебском сливаются то в ладной музыке переживания, то сменяются инвективами и пророчествами. Динамика картин, событий, настроений в книгах Шуваева удивительна, он то бросается в кипящий котел жизни, то предается слезным воспоминаниям, то ловит подробности, то устремляется к обобщениям. Стихи его - это лирическая панорама большого времени, кадры и размышления впечатлительного журналиста, бросившегося на поиск путей спасения. Характерно его признание: «Я ловил себя на мысли, что вот прожил я большую, шумную, как телевизионная площадка на съемках, жизнь, видел все и вся, хлебнул всей российской пены - и сладкой, и соленой, но отчего так потрясла меня тихая, ничем не бросающаяся в глаза, жизнь священника-живописца, его необыкновенно светлый, заставленный картинами, как букетами полевых цветов, дом и более всего - его тихая, сосредоточенная на внутреннем, одному ему ведомом мире, жизнь» [3].

Предисловие к первой книге Шуваева написал известный прозаик, которого называли воронежским Джеком Лондоном, «непредсказуемый и дерзкий» В. Дегтев, герои которого напугали аккуратную застойную критику: « И вот теперь он идет на бой, от исхода которого зависит не только его честь, но и честь страны, забывшей о чести. На бой без правил. Какие, к дьяволу, на войне правила?!» [4, 14–15]. Наверно, Дегтев почувствовал в Шуваеве «своего», поэта решительного жеста и слова, которому даровано выразить «страшную и прекрасную» космиче-

скую энергию, подвести «страшные итоги» XX века. Он поставил его в один ряд с Н. Рубцовым и А. Прасоловым, даже «выше – их обоих», ибо он способен и «по-отцовски согреть», и «беспощадно испепелить», может «вызвать слезы умиления» или «ввергнуть в пучину и геенну» [5, 6]. Тут, конечно, своё наложено на другого, но общее схвачено верно. Московскую книгу сопровождают С. Миронов, Н. Михалков, В. Дегтев (повторно) и митрополит Мефодий – люди не только активного действия, но и возрождающей веры. И это глубоко символично не только для духовной ситуации рубежа веков, но и для становления третьей России, чем так мучительно и пламенно живут строки Шуваева.

Лирику В. Шуваева можно назвать гражданской, однако она не однонаправленна, не однопартийна, как в прежние годы. Стихи его жгучие, личные, но и широкозахватные, в них весь спектр наших треволнений, обращенных и к истории, давней и близкой, и к нашей будущей судьбе. Политические стихи, как правило, узкоцелевые и не отличаются индивидуальными стилистическими приметами. Гражданская лирика захватывает всего человека, все векторы его бытия, все колебания атмосферы от его пребывания в мире. «Сила гражданственности, - пишет М. Лобанов, - зависит от... внутренней значительности поэта: какая уж там гражданственность, скажем, при духовной элементарности!» [6, 180]. Кстати, это одна из причин угасания интереса к поэзии, того самого кризиса чтения, о котором мы так плачем в последние годы. Сегодня отовсюду слышится: «Наша страна отучилась читать, а недавно была самой читающей в мире». Причину видят в утрате «вкуса к слову», в пониженном эстетическом градусе массовой культуры, в расхристанности СМИ, упущениях школы и т. д. «Мультимедийность, - считает О. А. Бердникова, - в значительной степени освобождает слово от подтекста, от необходимости задумываться над смыслом высказывания» [7, 45]. Но и в общей лености, в нежелании молодежи работать над собой - «и так сойдет», в тяге к физиологическим удовольствиям. Бедное смыслами и слабоногое слово расслабляет читателя, перед ним не надо напрягаться, а за нетребовательным читателем, потакая ему, идет поэт – круг замкнулся. Первородное, задушевное слово уступило место ходовому, рекламному, игровому. «А возможно ли сейчас... незамутненное, непиарное, кажется, совсем чуждое всяческой позы художественное слово?» - спрашивает в «Литературной газете» А. Канавщиков [8, 6]. Возможно, если оно будет пропитано кровью и судьбой поэта, не играющего в поэзию, а живущего ею. «Там человек сгорел», - сказал Б. Пастернак о подлинных стихах.

В строках В. Шуваева нередко ощущаешь воспламенения души, потрясенной дисгармонией мира, неустроенностью и несправедливостью нашего социума. Его социальность – это, говоря словами Ка-

навщикова, «неосознанная жажда единения, жгучей связи между всем сущим и Божьим» [8, 6]. Не имея социального компаса, невозможно стать значительным поэтом, в особенности русским. И никакими либерально-снобистскими или формалистическими многописаниями не погасить то пламя социальной справедливости, которое согревает человеческие сердца. Нам еще до рая далеко. Поэтический компас наводит Шуваева на это пламя, и он пытается найти для него живое, непраздное слово. Несмиренность народа с произошедшим в 90-е разграблением страны и расслоением общества - вот главная, форсированная нота в русской поэзии последних десятилетий (воронежской – в особенности: А. Нестругин, О. Шевченко, И. Лукьянов, И. Щелоков, Р. Дерикот и другие). Воцарение социального мира и равенства остается великой утопической мечтой народа, и эта мечта еще долго будет осенять поэтические замыслы. Так от многого отвернулась, отказалась новейшая поэзия (в особенности постмодернистская), так демонстративно погрузилась в игру и пересмешничество, в технологические упражнения, что возвратиться к «разумному, доброму, вечному» ей будет трудно и больно. Но придется...

Мы долгие годы покоились на завоеваниях, на итогах (социализм, великая Победа), оберегая их границы, смысл и значение. Но «итоги» устают работать, им нужна новая энергия, новые оправдания, новые впечатления. Девяностые просто отвергли эти итоги, с чем не могли смириться те, кому в заслугу их можно поставить. Внутри общества идет брожение, часто недоброе, взрывоопасное, накапливается недовольство промежуточным состоянием системы. Всякий промежуток тревожен и драматичен, ибо неизвестен его исход. Пушкинское «Служенье муз не терпит суеты, Прекрасное должно быть величаво» - это не для современной поэзии. Она вся в суете, в каких-то погонях, в восторженном или негативном раздражении. Когда все кругом горит, надо хватать багор или ведро и бежать тушить пожар, а не любоваться огнем или злорадствовать. Каждый, кто будет читать стихи Шуваева, увидит в них человека, бегущего к дыму над домом...

Для него всякий пофигизм с его пресловутым «таскать вам не перетаскать» неприемлем, ибо в нем нет понимания и сострадания. На рубежах веков поднимается новая поэзия, которая стремится называть вещи своими именами, порой звучащими как пощечины, но при этом пробуждает и сочувствует. Это поэзия отчаяния и воскрешения, поэзия рыдания и прорыва из окружения, поэзия мольбы и повеления. Избавиться от «унынья и лени», срастить сломанные позвонки века, одолеть исторический пессимизм – в этом она увидела свое предназначение. Тут кроются некие антитезы: учительствовать, но не поучать, быть верным библейскому слову, но молчать, обновляться, но через старое.

В наших стихах и речах Истины жизни не новы. Библия учит молчать: Праздное гибельно слово.

Я обещаю молчать. Слово свое не нарушу. Не поучать, не кричать, Не исповедовать душу. [289]

Библия потому учит молчать, что она сказала самые верные слова о человеке и мире, выразила такую правду, к которой мало что можно прибавить. Да, ничто не ново под луной, но каждый миг нашего существования – это новость, и ее надо согласовывать с библейскими истинами, от которых мы рискованно отступаем. Шуваев погружен прямо-таки в сырую, не обработанную литературой, не причесанную жизнь, в которой далеко не все совершается по библейским заповедям.

Его стихи часто взрывчаты и повышенно эмоциональны, потому что долго томились под спудом молчания, «в тайных тюрьмах во мне», ожидая своего часа.

Ждал я этих мгновений, Словно скрипа дверей, Словно освобождений Из неволи моей [246].

Дело в том, что первая его книга опубликована в 50-летнем возрасте! Перед словом «поэт» в отношении себя он так же немеет, как перед Библией. О своих соратниках он не скажет хвастливо «нас четверо», как говорили о себе «громкие». Эта излишняя скромность - чисто русская черта, порой разрастающаяся до комплексов. Шуваев не претендует на принадлежность к мастерам стиха, он творит себе «вдали от критики серьезной» (как В. Соколов «вдали от всех парнасов») и безыскусно рифмует «вода – звезда», «городов - поездов», «пройти - пути», «народы годы», «груди - впереди», но может блеснуть и более сложными созвучиями: «взора - озёрах», «зима - кутерьма», «адреналина - магазина», «вин - вытравим», «окошко – брошка» и т. п. Главное – чтобы технология не заглушала смысл, чтобы алая кровь не была щегольским мазком на холсте, чтобы стихотворение не становилось самопрезентацией.

Но не нужно особенным быть храбрецом, Чтоб, родившись позднее победного года, Рифмовать эту тяжкую память отцов – Ту святую, тяжелую память народа. Даже если отсюда те вехи видней, Даже если в груди настоящее жженье, Все равно отложи, ведь строка о войне – Это точная копия шва от раненья. [211]

Названия его стихотворений, как и рифмы, незамысловаты, они призваны указать на то, что увидено и как оно отозвалось в душе: Русское лето, Последняя осень, Старик, Море, Небо, Могила Толстого, Северный

погост, Обелиск, Сирень, Заколоченный дом, Череп на берегу, Бомж, Реставрация храма и т. п. За каждым названием – случай, заметка, зарисовка, репортаж, очерк или рассказ. Эти названия словно прижимают стихи к земле, к почве жизни, к повседневному бытию человека и не дают им воспарять, резвиться в эмпиреях вымысла. Но немало названий и другого рода – метафорических, саркастических, с обобщающим содержанием: Свободные тюрьмы, Мясокомбинат, Крылатая весна, Безнадежная свобода, Скерцо века, Тупиковая ветка, Осенние соловьи и др.

Шуваев сопровождает многие стихотворения эпиграфами и посвящениями, нередко их совмещая. И это говорит не только о широком круге чтения и культурных контактов, не только о стремлении приобщиться к сонму великих - он ищет единомышленников, он ждет от них поддержки в деле возрождения России, ее могущества и культурного доминирования. Его мысли заняты не только злобой дня, они витают над книгами мировых (Дж. Лондон, Р. Амундсен, Э. Хемингуэй), российских (Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тютчев, Чехов, Бунин, Пастернак, Цветаева, Грин, Есенин, Ахматова, Булгаков, Солженицын) и воронежских писателей (Кольцов, Жигулин, Прасолов, Троепольский, Песков, Семенов, Батуев, Юдин, Семаго, Мелехин и др.). Такие эпиграфы, как «мы увидим небо...» (Чехов), «Я зашел слишком далеко в море...» (Э. Хемингуэй), «Люблю Отчизну я, но странною любовью...» (Лермонтов), «Манкурты» - существа без памяти» (Айтматов), «Ум врачует прошлое, как рану» (А. Миллер), «Не стоит село без праведника» (Солженицын), «Куда мчишься? Тройка-Русь» (Гоголь), «Ветер, ветер на всем божьем свете» (Блок), «Предложили ему тридцать сребреников» (Евангелие от Матфея) и др., пробуждают в стихах Шуваева ассоциации и подтексты, публицистика начинает звучать философски, слово обретает воздух и простор.

Предначение Слова, Поэта и Поэзии у Шуваева одна из постоянных и в то же время сокровенных и деликатных тем. Он может назвать себя поэтом только мысленно – настолько высоко и свято для него это звание. Как часто слышится вокруг: «Я – поэт!», «Мое творчество!», «Мой читатель!», а всегото и написано полтора стиха. У Шуваева уже три книги за плечами, а он все еще не осмелится назвать себя поэтом. Это иногда мешает ему, как юноше робость перед любимой девушкой. Поэзия для него – святое, бескорыстное служение, он никак не связывает ее ни со славой, ни с карьерой, ни с «барышами». Начав писать стихи еще в 60-е, он таил их от публики до середины 90-х! и решился предъявить их миру в трудный час для Родины, когда было не до стихов.

Теперь, когда года глухи, Мне голос бескорыстный слышится. И чем ненужнее стихи, Тем больше пишется. [85] Эпохе, над которой то и дело раздается то «за здравие», то «за упокой», нужно особое, до конца правдивое, идущее из глубины, дымящееся слово, чтобы в нем было всё – «от Соборов до ГУЛАГов», чтобы Россия была «до слез видна».

Ничему не пропасть на свете, Не растаять в земной глуши, Пока есть на Земле Поэты – «Черный ящик» ее души... [86]

Он склоняет голову перед Русским Писателем, считая себя во всем обязанным ему, как Богу: Слово его проложило путь земной, вселило любовь и гордость, зрячесть и Веру, с ним ничто не страшно: «Ни денежный век гробовой, Ни успех. Ни бесславье» [98].

Вера в Слово у Шуваева так же незыблема, как вера в Бога, ибо Оно – от Бога. И в этом поклонении высшим ценностям и заветам – принципиальное отличие Шуваева от поэтов-постмодернистов. Дарованный Богом талант исторгает это Слово из глубин души, и оно вдыхает в себя «простор бытия».

Только в Слове мы снова и снова, Словно боги, открывшие свет! Что еще у нас есть, кроме Слова? Ничего у нас большего нет! [111]

А если не доходит посланное Богом Слово, лучше молчать и не обряжать пустоту завитушками словес.

Я не прятал в метафорах - ноль.

Не темнил - от отсутствия слов!

В андеграунде пестрых голов

Я раздет и острижен, как боль. [124]

В этой строфе, вроде бы корявой и невразумительной, все стекается к последнему слову – «боль», и ему веришь так, как будто она твоя.

Благоговея перед классиками, Шуваев склоняет голову перед провинциальными поэтами, чьи надежды и судьбы замкнуты «тоской райцентровского века». Однако они не сдаются.

Какие ж Вы – еще живые! Дрожит, срываясь, голос мой – Какие драмы бытовые Стоят за каждою строкой... [169]

Их письма с исповедями и стихами, которые «святой оплачены судьбой», не очень-то нужны России, а ведь они - «любовь последняя твоя!..» [170]. Недавно «Литературная газета» обратила внимание на поэтов из российской глубинки: «Когда мы говорим провинциальный поэт, то сразу же появляется некая снисходительная интонация. И читаем мы книгу со столичной прохладцей. А это неправильно. Потому что в книгах провинциальных поэтов, чаще всего написанных в традиционной манере, хоть и не найти филологических и каких-либо других изысков, зато в них теплится нечто живое, доброе и настоящее» [9. 7]. Заметим в скобках: снисходительность эта осталась и здесь: «в традиционной манере», не найти «изысков», «теплится» и т.п. Во-первых, настоящий поэт не провинциален. Во-вторых, традиционная манера – не изъян, а «изыски» – не достоинство. В-третьих, провинция давно не благостна. В-четвертых – провинциальность имеет корни не пространственные, а духовно-эстетические. Кольцов, Никитин, Прасолов – поэты вовсе не столичные, да и малая родина не была для них раем, чтобы в них теплилось живое и доброе – они за него «шли на бой».

Родной свой город Шуваев не жалует, как и его собрат по перу В. Дегтев. Но каково же его отношение ко всему нашему «хозяйству», ко всей нынешней «суетории» и противостояниям: оголено-оценочное, словно в жаркой дискуссии. Заклеймив все, что тут творится «жлобовской корридой», он готов биться один на один с «темнотой окруженья», призывая коллегу: «Не сдавайся, не кланяйся, брат»

От Кольцова – до нынешних дней, Не внимая урокам, Этот город торговцам родней, Чем творцам и пророкам. [125]

Это чисто романтический взгляд на родные пенаты. Однако поэт-прасол Кольцов совмещал в себе и «торгаша», как он сам себя называл, и творца-пророка. Пушкинский завет не объединяет, но и не разделяет рвом дело творца и поприще его жизни: «Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать». А вообще Шуваев любит все отдаленное, тихое, провинциальное, там меньше того, что режет глаз и колет ухо, чем в столице, там все прямодушнее и отзывчивее, там больше живительных сил, в провинции – «всей России возрожденье» [144]. Недаром он назвал Россию «всенародной провинцией», новой «тройкой-Русью», устремленной в космос.

Претендовать на высокое звание Поэта обыкновенному человеку кажется Шуваеву дерзко и даже грешно.

Всю жизнь больше смерти боялся я этого слова! Как тайный преступник боюсь его даже сейчас! [184]

В чем тут проблема? Широко распространилось убеждение: «Не боги горшки обжигают». Массовое искусство превратило его в знамя, с которым оно берет города и веси. Раз я пишу стихи, значит я поэт! Перестала томить «боязнь совершенства», что-то высшее ушло из поэтического устава – и ширпотреб прорвал плотину. Настоящий художник отличается от мастеров саморекламы тем, что не выпячивает свое «я», а занят исполнением Божьего поручения. Многие, спекулируя на важной теме, подряжаются писать о войне, будучи не причастны к ней ни духовно, ни биографически. «Отложи этот лист», – заклинает Шуваев. Не пытайся погреться у огня, на котором сгорали люди, не возводи свою славу на подвигах других. У него безымянный поэт,

Познавший быль и небыль Стихов, отрезал, как убил: «Я никогда поэтом не был. Я только Родину любил». [221]

Проблема поэта и поэзии постоянно пересекается у Шуваева с проблемами нравственными, что не часто встретишь в «свободной» поэзии. Призвание поэта у него столь же высокое, как и предназначение человека: служение стране, народу, литературе. То ли в шутку, то ли совсем всерьез он напишет: «Вся земля поэту – монастырь» [251]. Такие горы грехов наросли на земле, что не хватит многих лет, чтобы их отмолить. В том числе и грехи самих пишущих. Поэзия подобна молитве, она спасительна, как реанимация, как совпадающая группа крови для «обескровленной веком души». Поэтическое слово приходит на помощь «в урочный час падения людского», как слово матери или друга, как слово честного человека, данное другому человеку.

Ты дай мне только слово,

И это для меня не меньше, чем судьба,

Как вечная любовь, без времени, без крова... [275] Шуваев сравнивает поэтов с летописцами, в чьих

письменах, словно в кадрах кинохроники, видна живая Россия. Эти кадры останутся свидетелями ее бытия на земле. Тут не только его общая оценка поэзии, но и указание на особенности своего поэтического метода, на его журналистскую подоснову. И хотя его стихи взрывчаты и повышенно эмоциональны, он пытается умерить их субъективность точностью кадра. Он уходит от разливанной мелодичности Рубцова, от поэтизации замирания и распада к активному жизнетворенью, ему снится парус, спорящий с ветром, а не зеленая трава во льду, Родина у него не только тихая, но и бурлящая. В нем бродит дух сопротивления всему инертному и смиренному, энергия крыла выносит его на просторы большого мира. Его слово стремится стать эхом наших бед и побед, наших рыданий и радостей. Оно спешит на площади, на баррикады, в горячее варево истории и текущего дня. Ко всему приметному, судьбоносному тянется его микрофон и камера: Тамерлан у Дона, кровоточащий Ленинград, Робеспьер и Королев, Петр Великий и Ельцин, XX век и третья Россия - обо всем он хочет сказать правду, даже если она не радует.

Я, с годами, мучиться устал: Где обман? И что вовеки – вечно? Сам зеркальным отраженьем стал – Отражаю время безупречно. [229]

В его правдивых кадрах и попутных реакциях много материала для будущих размышлений, много заготовок для более тщательной обработки. Особенности мировидения поэтов своего поколения Шуваев объясняет комплексом «детей войны».

Научились любить мы одними глазами, Выражая во взгляде словесную суть.

И фальшивым весельям с их нынешним гиком До конца своих дней не сумев угодить, Болевую границу молчания с криком До крови на губах научились сводить. [165]

Тут есть что-то и от «Нас никто не жалел», от фронтовой поэзии. И если бы это было сказано только о себе, оказалось бы самохвально, а о «веселящихся» – осудительно, но тут речь идет о современной поэзии.

На что чаще всего наведен поэтический объектив Шуваева? Русский характер, русский народ, Россия – вот та нерукотворная Троица, перед которой он молится, исповедуется, вопрошает, заклинает. Разные, порой несовместимые лики этой Троицы схватывает объектив. Тихий паромщик Иванов (фамилия символическая), прошедший сквозь огни и воды, «сквозь фронт, тюрьму, лесоповал», а ныне «полуалкаш, полугерой», его жизнь «единой рваной раной» пролегла через всю страну, добывая ей победу и славу, а сам он доживает век «в избе убогой», почитаемый преданной дворнягой.

Душа в глазах его иконных Живет отдельно от всего. Россия! В годы роковые Перерождения всего Взгляни в глаза – еще живые – Неозверенья своего! [26]

Этот перебив интонации на третьей строке словно взлет на форсаже - характерен для многих стихотворений Шуваева, ему мало того, что увидено в объектив. Он побуждает себя запечатлеть «непридуманный русский народ», о котором уже так много и так разно сказали. Он и подвижник, и строитель, и воин, но он же и анархист, и бунтарь, и самосожженец, рыдающий над им же разрушенной церковью, что стояла «в эпицентре великой державы». И не он ли «нашу Веру довел до распада», а теперь физически и нравственно распадается сам? Церковь напротив сельсовета превращена в отхожее место, у разбитой стены пьют, матерятся, спорят о процентовках. Кто в этом виноват? Разве красный флаг «над миром убогим» достойно заменил крест над церковью? Кому это нужно было? Народу? Вряд ли. Но он поддался соблазну, а теперь вот этим убожеством наказан. Правда, в объектив попадает и то, что нерушимо при любых крушениях.

Вечный спор над русскою судьбой! На пределах разума и духа. А она – за каждою избой, Где в ботве копается старуха. [147]

Он схватывает и «ветер обновления», и темные чуланы, где про запас держат «сохи девятнадцатого века», и пьяного инвалида, и мальчугана, перенесшего через лужу младшую сестренку. Из этих и других кадров складывается многоцветная, контрастная мозаика России XX века, суть которой выразить одним словом невозможно: «Третья дочь расстрелянного Бога», «Вольнодумка родом из острога», «Мчится Русь без кучера и сбруй», «Разведем "тройным" одеколоном Перестройку сладкую свою» и т. п. Эти хлёсткие фразы заменяют пространные исторические обосно-

вания, ибо и так понятно, о чем идет речь. Главное – ни от чего не отвести взгляда, поставить диагноз и взять решительный курс на обновление, на выздоровление. В его, кажется, несоединимых, несовместимых кадрах все подлинно и документально. Только в самой жизни все труднее различать, что подлинно, а что подделка, где правда, а где обманка. Она стала игровой, подменной, хамелеонской. Зыбким, колеблющимся становится и человек, он слабо различает верность и предательство, хорошо и плохо, полезно и вредно и в любую минуту готов к самооправданиям: что ж, я действую по обстоятельствам. Это, пожалуй, самое трудная материя для лирического переживания, всегда определенного, четко различающего полюса добра и зла, красоты и безобразия.

Если смонтировать все кадры, разбросанные по страницам книг Шуваева, сложится довольно драматическая картина и Руси уходящей, и Руси советской. Какой же будет третья Россия?

Ах, Россия!

Крах иль возрожденье?

Грустно Гоголь смотрит с облучка... [191]

Конечно, большие высоты взяла Россия, великие победы одержала на своем пути, но и утратила чтото такое, что «не отняли у нас ни Орда, ни Европа». Может быть, душу? Неужели партия Великой Руси сыграна и нам уже ничего не жаль терять? И Ленин давно мертв, и Боги хлопнули дверью, покинув нас.

И вдоль долгого лета В бесконечную даль Ветер гонит по свету Пустоту и печаль. [136]

Всех прежних Иуд превзошли новые, но и с ними мы попиваем чаёк. Все давние боли и беды стекаются у Шуваева к Голгофе 90-х, все ставится тут на кон. Осталось только «Пожалеть о ненужной победе, И о том, что остался живой» [2, 74]. Это, конечно, эмоциональный срыв, поэтому Шуваев не включил стихотворение «Высота» во вторую книгу. Зато в литературных изданиях подобные высказывания зазвучали со всей силой. У Шуваева этот «неверный звук» случаен, и прозвучал он там, где политические эмоции разошлись с поэтическими. Политический вектор поляризует переживания, окрашивает всё происходящее одним цветом, всё предстает относительным: свой виноград - спелым, чужой - зеленым. На горизонтах политики исчезает высшая мера истины, крайности в оценках становятся нормой, вот и прозвучало «пожалеть». Из одной точки как трагедия и фарс воспринимаются и Оттепель, и Перестройка, потому что они не привели к желанным результатам. Но ведь это сложные, многослойные процессы, как и пресловутые 90-е, выводящие страну, как многим представляется, на спасительные пути. В противовес либеральным ликованиям зазвучали проклятия, у которых было оснований предостаточно.

Я продал землю. И продал веру. И было б можно, я б продал Бога. [205]

Это «продал» - ключевое слово последних десятилетий, и Шуваев чутко уловил его в демократической разноголосице. Конец XX века звучит в лирических мелодиях Шуваева как реквием, как плач по всему уходящему, по всем «палачам и пророкам», по всем святым и грешникам, по былой России, наконец. И это говорит о том, как тревожно и болезненно мы воспринимаем перемены и противоречия. Нас долго приучали к одноцветности и постоянству, к незыблемости всего сущего. И вдруг все поменяло стрелки и знаки, все затрещало и перекрасилось. Многим подобное показалось концом света, перевернувшимся вверх дном кораблем. Советская литература стала русской, история КПСС - политологией, научный коммунизм - социологией, атеизм - религиоведением, партийные ортодоксы - банкирами и священниками. «Какое время - такие радости», горько вздыхает поэт, оставшись наедине с совестью. Тут недалеко и до мысли о «тугой петельке над унитазом», чем закончил А. Прасолов.

И все же панихидное восприятие рубежа веков лирика Шуваева превозмогла. Неужели весь XX век, «вся Россия, как зона утрат, Где томится народ обреченный»? [2, 102. Стихотворение «Петербургская весна», как и «Высота», не включено в московское издание]. Неужели нам досталось выживанье и доживанье? Неужели «Жизнь пуста. Душа несовершенна И все так же низок человек?» Неужели «Что ни день - то новые напасти»? [2, 142. Это стихотворение тоже не включено]. Как у всякого русского, надо дойти до дна, разбиться вдребезги, чтобы вновь срастись и вынырнуть. Пессимизм бесплоден. Шуваев переболел им и стал выходить к «третьей России». В дымах и туманах новых дней стали проступать герои нового склада: не жалобщик, опустивший руки, не пофигист или циничный пересмешник, а деятель, настоящий мужчина, готовый подставить плечо под накренившуюся страну. Ему противны уклонисты и перебежчики, предатели, торгующие родиной на всемирных базарах. Возникает слово «Держава», и от него идут лучи во все уголки сознания. Шуваев одним из первых почувствовал, как «просыпается в муках эпоха больная», как уходит морока безвольного страдания, как руки наливаются силой и жаждут работы. Третья Россия, Русская Держава – дело рук нового героя, наше общее дело, а для поэта – «вера и счастье мое!» [143]. Но эта вера - последняя...

Поневоле приходится замечать, как поле жизни, весь ее неоглядный простор сужается до площадки выгоды, увиденной в прорезь прицела, как многоцветный словарь нашего «живого великорусского» языка оскудевает до худосочного коммуникативного волапюка с матерными вкраплениями. Порой кажется, что все веками наработанное идет на убыль, на усыхание, все подменяется какой-то дурно пах-

нущей бурой похлебкой, разлитой в повсюду стоящие корыта. И отступать уже некуда – дальше для души и духа земли нет. После всех утрат, сокращений и упрощений, после всех запретов и гонений нальется же свежими соками наша русская культура, воскреснет же «царственное слово» русской поэзии?! Мы возвращаемся к державности, к высоким ценностям, отворачиваемся от «захватившей всё попсы», от подмен и обманов, от химер и туманов исторического бездорожья.

Идти вперед! В стремительном рывке, Преодолев химеры и туманы, Соединив в решительной руке – Размах Петра с державностью Ивана! [3]

Шуваев стремится открыть нам убеждающую содержательность всего доброго, позитивного, созидательного. Нас приучили в 90-е к тому, что все наше прошлое достойно только очернения и забвения. Нас видели вне цивилизации, вне культуры обросшими шерстью медведями, обезьянами с пустыми глазами, хватающими из рук карамельку. И не только из далекого Запада, но и с высот элитного стана, четверть века обливающего грязью русский народ: и совки мы, и быдло, и ни на что мы не способны, и путь наш исчерпан. Трудно стало дышать в этой болотной грязи, и больно глаза поднять от стыда за вчерашних единоверцев. Но мы стерпим, переживем. Вам свобода дана «от чего-то» - от народа, от Родины, от долга и чести, а нам - «для чегото» - для служения ближним, семье, Родине.

Родина – Мать! На кого уповать?! Ты нам дарована с прошлым в придачу – Словно детдом отыскавшая мать, Что на скамейке с гостинцами плачет! [47] Не черной, а золотой кистью рисует художник –

не черной, а золотой кистью рисует художник – Стефан Домусчи-старший – утро жизни, и в его картине ободряющая музыка бытия.

Воронежский государственный университет Акаткин В. М., доктор филологических наук, профессор кафедры русской литературы XX и XXI веков, теории литературы и фольклора

E-mail: msv2012kafedra@yandex.ru

Все, что мы любим по-русски, Все, что храним на века – Все возвращает искусство И воскрешает рука!

Это одно из самых задушевных посвящений Шуваева (а их у него много), тут не просто отсылка к имени известного художника – в этих строках и сам поэт, его идеал, тут Свет и Вера новой, «третьей России», которую он так трудно, так истово искал...

ЛИТЕРАТУРА

- 1. Шуваев В. 20 век в стихах... (Три книги стихотворений): Двадцатый век. Третья Россия. Бескрайняя вера / В. Шуваев. М., 2005. 320 с. Дальше страницы этого издания указываются в тексте.
- 2. Шуваев В. Последняя вера : сб. стихов / В. Шуваев. Воронеж, 1996. 176 с.
- 3. Шуваев В. В глубине России... Земны иконы. Свет на картинах // Шуваев В. Рукопись. 2014.
- 4. Дегтев В. Гладиатор : рассказы / В. Дегтев. Воронеж, 2001. 320 с.
- 5. Дегтев В. Поэт Владимир Шуваев / В. Дегтев // Шуваев В. Последняя вера: сб. стихов. Воронеж, 1996. С. 5–6.
- 6. Лобанов М. (Без названия) / М. Лобанов // День поэзии 1965. М., 1965.
- 7. Бердникова О. А. «...Живем не благодаря, а вопреки» / О. А. Бердникова // Кройчик Л. Е. Alma mater. Третий вып. Воронеж, 2013. С. 39–48.
- 8. Канавщиков А. «Да потому, что он мне брат…» / А. Канавщиков // Литературная газета. 2014. 21-27 мая. № 20. С. 6.
- 9. Литературная газета. 2014. 16-22 июля. № 28. С. 7.
- 10. Шуваев В. Творец от Бога. Священнику и художнику Стефану Домусчи // Шуваев В. Рукопись. 2014.

Voronezh State University

Akatkin V. M., Doctor of Philology, Professor of the Russian Literature of XX and XXI Centuries, Theory of Literature and Folklore Department

E-mail: msv2012kafedra@yandex.ru